

Владимир Бурлаков

Белым-бело

Проза. Драматический акт



Владимир Бурлаков

**Белым-бело. Проза.
Драматический акт**

«Издательские решения»

Бурлаков В.

Белым-бело. Проза. Драматический акт / В. Бурлаков —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-834985-0

И чистота языка, и глубина сюжета каждого рассказа пронизаны мелодией, которая звучит в душе при чтении этих текстов. А ещё в ней много любви, любви автора к своим вовсе не великим героям, а простым и часто незаметным для нас в обыденной жизни.

ISBN 978-5-44-834985-0

© Бурлаков В.
© Издательские решения

Содержание

Белым-бело	6
Непутевый	12
Мой Ленин	18
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Белым-бело
Проза. Драматический акт
Владимир Бурлаков

© Владимир Бурлаков, 2017

Редактор Татьяна Всеволодовна Сурганова

ISBN 978-5-4483-4985-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Белым-бело

Тётушке моей Марии Васильевне Смирновой (в девичестве Одинцовой) посвящается этот рассказ с благодарностью за помощь в его создании.

Белым-бело по всей земле. По всей России легли снега. А вчера ещё я хлюпал сапогами по жидкой московской кашнице, но – поезд на восток, и целые сутки за окнами белым-бело. Сто километров автобусом в сторону от железной дороги, и вот – вьюга за окном раскачивает голую лампочку уличного фонаря, живой огонь в печи, над столом хлопочет мама.

– Вчера соседи откапывали, – говорит она.

– Отгребали, – поправляет бабушка, перелистывая хрестоматию древнерусской литературы: «Вот ведь что теперь!» – в её удивлении таится радость: «Неужто по церковным книгам учат?»

– Учат, – признаюсь я.

Мир доживает от рождества Христова 1986 год.

– Ты с ней не шути, – улыбается мама. – Она мне тут со своим Богом плешь проела.

– Так ведь учат? – насторожилась бабушка.

– Учат, бабушка, учат.

– А у нас вон беда какая: Галька-то от обезьяны произошла.

– А то не от обезьяны? – торжествует мама. – Все от обезьяны. Это наукой доказано.

– От кого же, по вашей науке, бес произошёл? Тоже от обезьяны?

– Уж он-то точно от неё.

– Ты глянь, до чего умом доплутала, – обращается ко мне за сочувствием бабушка. – Уже и с бесом породнилась.

Улица дышит вьюгой, будто кто-то до жути огромный силится объять собой этот хрупкий мир. Стропила скрипят на чердаке. Дым от моей «Примы» синей струйкой утекает в печной затвор.

Бабушка выставляет на стол банку сгущёнки.

– За дедушку к Девятому мая выдали.

– Ну так ели бы сами.

– Открывай, – празднично подбадривает мама, – бабка тебе с весны берегла.

А под синий столбик сгущёнки чугунная сковорода с яичницей на сливочном масле и здешний хлеб. Пахнет хлебом. За окном метёт. Лоскут света норовит оторваться от лампы под колпаком. Бросаю окурок в печь, поднимаюсь к выходу.

– Ведро в сенях, – говорит мама.

Сенцы маленькие, здесь ведро, если не помнить где, задену, опрокину, но пахнет деревом от шершавых стен, толкаю дверь на улицу, она срезает снег на крыльце. Светло от снега. Метла в углу, её не замело. Выметаю порог, выхожу. Стужа вьётся со всех сторон, проникает струями под одежду, гладит кожу на спине. Дальше – ступени. Над ними нет козырька, там небо. Оно навалилось на землю и треплет всё живое. Сколько смог, смёл, а тут слегка налегало, нарубаю снег на куски с четырёх сторон, поддеваю снизу и бросаю подальше, очистил ступени, увлёкся, пошёл в снега до сараев. Один, с лопатой, ушёл по пояс! Не разгрести, не размахать. Безнадёга. От взмахов лопаты летит пурга под вьюгу. Опомнился. По ложбинке щупаю ступеню твердь, гребу назад. К теплу, к дому.

– С ума сошёл? – кричит с крыльца мама. – Давай сюда!

И тянет руку в моё снежное безумие. Затворяем все двери. Кухня окутала теплом. Стулья, стол, шкаф остались от прадеда Петра. Он выводил их красоту на токарном станке долгими

зимними вечерами. Были у них ещё мельница и кузница, жили они одним домом, работников не нанимали, сами справлялись, хватало сил.

– Ешь, – говорит бабушка. – Стынет.

Остывает яичница. Не открыт синий столбик сгущёнки – памятник деду Григорию.

– Что вы ели в прежние времена, пока ещё у вас всё своё было, готовили что?

– Постились подолгу, – вспоминает бабушка, – тогда, бывало, и свеколку, и капустку, и горох. Тюрю с лучком запаривали.

– Богато жили. Могли и пощадить себя в посты.

– Когда мельницей да кузней владели, да вот ещё прадед твой Пётр успевал мебель мастерить, достаток хороший был.

– А в посты свеколку и тюрю?

– Так вот и щадили себя, – поясняет бабушка, – жили-то в радость.

– Как советская власть пришла в деревню, помнишь?

Бабушка задумалась и тихо ответила:

– Незаметно.

Долго вилась, извивалась эта власть вокруг крестьянства, расставляла западни: от лукавых ленинских декретов до коварного сталинского «Земельного кодекса», бичевала продразвёрстками, жалила продналогами, пока не догадалась нахлобучить на деревню крепостное право в образе коллективизации.

– В двадцать восьмом, всё-таки, они заметно пришли?

– В двадцать восьмом у нас с Григорием первенец родился, дядя твой Михаил. – Бабушка вдруг слегка взволновалась. – Задумали мы тогда к отцу Петру обратиться. Чтобы просьбу нашу принял и благословил, а он как раз в райцентр собрался, погодить просил до его возвращения.

Ехал прадед в райцентр умом своим проверить слухи, зашелестевшие среди людей. Вернулся и выслушал сына.

– Благослови, отец, жить хочу своим домом. Отдели мне кузню.

Горько ответил прадед деду моему: – А жизнь-то, Гриша, кончилась.

Ухожу к печи, закуриваю свою «Приму». Течёт синий дымок в затвор.

– А ты говоришь, незаметно, – укоряю бабушку.

– Подкрались незаметно. Жили-то мы хорошо: земля под нами, трудом и достаток прирастал. Зла от нас никому не было, ни от кого его и не ждали.

А в тридцать третьем родилась моя мама, она деда своего Петра на этой земле не застала. Запил непьющий Пётр, и какая-то неизлечимая хворь быстро иссушила его. Сын его Григорий так и остался при кузнице железо ковать за колхозные трудодни.

Ветер за окном стихает, снег валит крупными хлопьями. Лампа висит на столбе под своим колпаком, гладит светом снежинки.

– Ты каким отца своего запомнила? – спрашиваю маму.

– Сильный он был, большой. Помню, цирк в деревню приезжал. Там силач, который гириями играл, попросил выйти к нему кузнеца. Папа вышел. Силач ему на самую большую гирию указал. «Поднимешь?» – спрашивает. – «Подниму», – отвечает папа. – «А размахнёшься?». – «Размахнусь». – «А в грудь меня ударишь?» – «Коли попросишь, так и вдарить могу». – «А вот я тебя и прошу». Папа гирию ту поднял – да как ему по груди ухнет. Тут и ахнули все. А силач устоял. Засмеялся даже. – «Настоящий, – говорит, – у вас в деревне кузнец». Папа нам потом объяснил, что у силача на груди горошина была нарисована – метка, в которую с любой силой можно бить. Если бы он в ту горошину не попал, зашиб бы мужика насмерть.

– В сорок первом тебе восемь лет было, – сочувствую я маме.

– В сорок первом папа недолго дома побыл, только с финской вернулся, тут и Отечественная началась.

– В первом призыве ушёл, – почти прошептала бабушка.

Сохранились пять пожелтевших писем с крепкими печатями: «проверено военной цензурой». В них нет пафосных пассажей: «За партию! За Сталина! За нашу Социалистическую Родину!». С крестьянской вежливостью здороваются дед, перечисляя всех родных поименно, обращается к каждому на «вы». Интересуется урожаем, ценами на зерно, подсчитывает трудодни, советует: «Гармонь Михаил пусть купит, надо и погулять, и повеселиться, если дольше война продлится, то и его возьмут, и неизвестно, что с ним будет». А вот супруге совет: «Вы, Вера, писали, что проводили праздник Михайловску хорошо, но и вам только надо, пока что можно, дак и праздновать, и пировать. При такой работе, да и не повеселиться?»

Писал он в январе сорок четвёртого. Будто и не было между ними трёх с половиной лет разлуки и расстояния длиною в войну. Так мирно входит он душой в семью свою и ладит жизнь.

А вот письмо сорок второго года, здесь дед ещё не оторван от семейного быта: «Теперь сообщаю вам в первую очередь о своём здоровье то, что всё ничего. Скоро всё заживёт. Одна рана зажила, куда вышел осколок. Вход тоже скоро заживёт. Идёт дело к лучшему». Жёлтый лист разломан по изгибу, буквы рассыпались в прах. Полагаю, что далёким химическим карандашом здесь было вписано имя кого-то из близкой родни: «... возможно, у них носить нечего, нет обуви, и если ничего не купили, то пусть носит мои хромовые сапоги в сухую погоду, но без галош, а если сыро, то с галошами. А Галя, я думаю, что если ничего не купили из обуви, то всё же как-нибудь старого починить, какие-нибудь старые ботинки. А сама, Вера, могут, в какую холодную погоду мои ботинки носить. И только у Миши никак нет обуви, и то можно мои сапоги крытые носить. Я так предполагаю: буде что будет. Работайте в колхозе, и какая одежда есть, носите».

Тепло от писем. Мой тёплый дед. Моя далёкая правда. Ветхая бумага в пальцах моих. За окном ночь. В печи огонь.

«Ваш муж, младший сержант Смирнов Григорий Петрович, уроженец Арбажского района Кировской области, деревни Ромашичи, в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив героизм и мужество, был убит при выполнении боевого задания 11 февраля 1944 года. Похоронен в деревне Синвернян Ленинградской области».

На карте Ленинградской области, изданной в 1939 году, нет деревни Синвернян, нет её и на карте 1943 года – это выяснил мой однокашник Саша Сеплярский, коренной ленинградец.

Но был 44 год, было 11 февраля. Когда не стало деда моего. Вот говорит он с жёлтого листочка старательным почерком в декабре 43-го, беспокоится о сыне: «...пока он растёт, и видишь, как цветёт, а потом будем жалеть и каяться. Мне сейчас интересно хоть одним глазом посмотреть на своих детей. Но могот, и совсем не придётся повидать. Вы, Вера, писали: где мы находимся? Дак я и сам не знаю, в каком месте. До этого не ... (жирная печать цензуры) ... хвам (рассыпается бумага на изгибе). Здесь ро... (буквы печати) ... места неизвестные».

Сука Гитлер. Очевидный урод. Не могу понять, как ему удалось одурманить такую массу народа, таких неглупых людей, как немцы? Что заставило их отозваться на амплитуду его голоса? От какой открывшейся им тайны они так неистово плавляли сталь, чертили чертежи, делали танки, строились в колонны и шли убивать? 11 февраля 44 года убили моего деда.

– Бабушка, а дед курил?

– Нет, табаком они не баловались.

Прикуриваю свою «Приму».

– Ну, ведь грешили как-то?

– В карты играли. Раз Григорий жеребёнка проиграл.

– А ты ему?

– А что я? Он голова.

– Бабушка, я заберу эти письма себе?

– Куда же их ещё? Забирай.

За окном в нежном свете тихой лампы падают снежинки.

– Спать пора, – говорит мама.

– Вы стелитесь. Я ещё посижу.

И утекает синий дымок моей «Примы» в печной затвор, убирает мама со стола синий столбик сгущёнки. Бабушка уходит за дощатую перегородку, так здесь обозначены комнаты. Скрипнула раскладушка. Докурил сигарету, зашёл к бабушке. Она седая, в белой рубашке с рукавами, под белым одеялом на раскладушке у печи.

– Бабушка, тебе хорошо?

– А как же? Тепло и чисто.

И никаких претензий. Тепло и чисто. Здесь все в ладу с миром. А мир наполнен тихим светом, в котором хочется жить, пребывать, не суетно, не шумно.

– Спокойной ночи, бабушка.

– Покойной ночи, ты не майся, приляг, поспи с дороги.

Выхожу в проходную комнатку. Мама расстелила мне постель на железной кровати, сама погасила свет, присела на кухне у окна, смотрит на меня сквозь дверной проём. Окно за её спиной роняет снежный свет на прибранный стол.

– Так неужели не от обезьяны? – вдруг серьёзно спрашивает мама.

– Ты оглянись, разве всё это может быть от неё?

Мама смотрит на улицу, будто вдыхает душой густой снегопад, и вдруг тихо произносит:

– Неужто бабка права, и он есть?

– Кто?

– Бог.

– Мам?

– А?

– А его может не быть?

– Нас учили, что от обезьяны. Мы верили. И жили вот так.

– Как?

– Страшно.

– Что страшно?

– Оглянуться страшно, как жили.

– Нормально вы жили.

– Ты спи, я ещё посижу, – говорит мама.

Она смотрит в окно, я валюсь на кровать и слышу, как мама тихонько плачет. Я знаю о чём. Она призналась недавно, что слёзы стали накатывать от боли о своих не рождённых детях, о моих братьях и сёстрах, которых лишали жизни до их появления на свет. У меня теперь тоже есть не рождённые дети. И я не могу себе этого простить. Но ведь я позволял своим женщинам делать это, не испытывая угрызений совести. Мы всерьёз верили, что так можно и даже нужно для личной свободы, для «беспрепятственной реализации собственных личностей во благо возвышенных целей». Такой бред мы принимали в себе за здравомыслие. И вот забрезжила возможность вырваться из этой безумной системы координат. Там, в Москве, закипает гласностью 1986 год. Выносит на пенистую поверхность щепки, брёвна, плоты утопленной большевиками правды. Мы цепляемся за них, плывём из тьмы. Правды много, она такая пёстрая: от «Собачьего сердца» Михаила Булгакова до «Обратной перспективы» Павла Флоренского. О чём вчера запрещено было думать, о том сегодня можно говорить и даже спорить. Раздухарились мои однокашники по институту. Утром в умывальнике голый по пояс Бражис латыш в полный голос развивает теорию о том, что они-де в ближайшие годы оторвутся от России и станут нам во благо проводниками европейской культуры.

– Ну ты, Сусанин! – возражаю ему. – Не хиловатый проводник из вас получится? Сечение размером в один Райнис под какую культуру приспособлено? У нас, ыть, потребности толстов-

ско-достоевские. Да и от нас есть что в Европу нести. Боюсь, размер у вас для проводников мелковат. Не годитесь вы нам. Придётся другую работёнку подыскивать.

Бражис не обижается. Он уверен в том, что он европеец и с нами ему не по пути. А мне он почему-то кажется самим себя сочинившим. Сам себя придумал, сам себя изображает. И ничего в нём ничего не весит, ни мысли, ни тело. И слова звенят пустотой. И мечты он излагает какие-то забавные. Ну, допустим, отделятся они от нас, что в результате? Виноватого потеряют! Придётся в зеркало глядеть. Вот тут-то им не позавидуешь, когда на них из зеркала глянет реальный виноватый в их исторических бедах.

Мы-то, при всех наших сложностях, опираемся на русское дворянство, одарившее мир литературой, философией, музыкой, наукой. Кто на вас из вашего зеркала выльнет? Существо с лакейскими бакенбардами и в ливрее? Нож научился в правой руке держать, вилку – в левой? Кофе заваривать? Кильку в раскалённом масле жарить? Да и флаг вам в руки! Воняйте вы своими шпротами по всем берегам Балтийской лужи.

В этот снежный вечер мне их становится почему-то жалко. Жалко за то, что в азарте тридцать девятого года большевики наступили на них кирзовым сапогом. Да и за что жалеть? Наступили, и поделом. Ведь это вы, милые, помогли большевикам утвердиться на нашей земле. Одни латышские стрелки чего стоят! Вот и получили их «взад», как говорят в народе.

Это не вам – нам теперь почти вековую большевистскую коросту с тела сдирать. Вон, мама моя жизнь прожила и не знала, что Бог есть. С кого теперь за такую искажённую жизнь спрашивать? Не с того ли беса, что лежит в образе человеческом в подвале под Кремлёвской стеной? В самом сердце страны затаился. Какие сказки он в детстве слушал, какие колыбельные пели ему? Кто пел? С мамашей его всё понятно. Там Бланки. У них всегда порядок с породой. А вот с папой Ильёй Николаевичем – туман. Кто четвертинку русской крови внёс в будущего вождя: бабушка или дедушка? Кто был не калмык, до сих пор не ясно. Ясно, что ни русские, ни калмыцкие песни над его колыбелью не звучали. Не слышал младенец ничего такого, что способно было укротить его природную ненависть ко всему духовному. Подвернись ему другая страна: Франция, Германия, – он и там бы затрепал всё шиворот навыворот. И не мы бы разгребали сейчас беды свои. А так нам выпало. Разгребём ли? И дадут ли разгрести? Пока только чирикать разрешили. Книжки умные читаем теперь не «под одеялом» и не под уголовную ответственность. Издают пока плохо, но, слава Богу, не карают. Скоро на полках открыто появятся Солженицын, Набоков, Бердяев, кто только не появится. Но читать их сильно не станут. Кто хотел, тот давно прочёл «под одеялом» в самиздатовских экземплярах, со слепым машинописным текстом. Скоро, скоро побегут по московским улицам «мерседесы», перестанут выдавать зарплату, и не затаённую от народа классику ринутся читать люди, нет! Люди захотят делать деньги...

А пока за окнами 1986 год. Приятно засыпать под вьюгу. И сходит в мою дремоту чудесная девушка Карина. Присаживается на краешек кровати.

- Привет.
- Привет, ты откуда здесь?
- Ты позвал, я пришла.
- Ну да, позвал, кажется. Просто подумал о тебе.
- А что подумал?
- О тебе подумал просто. Зачем ты тогда осталась у меня?
- Осталась, а что?
- У тебя жених...
- Интересно было.
- Ты красивая. Скажи, ты смогла бы любить такой дом?
- Честно? Нет.
- Тебе не нравится, как пахнут стены? Деревом. А какой снег за окном!

Карина гладит меня по щеке тёплой ладонью: «Ты хороший, и у тебя всё будет хорошо. Мне здесь холодно и скучно. Человеку не может быть хорошо там, где ему скучно».

– Почему тебе скучно?

– Мне кажется, что здесь всё далеко, до всего далеко, и от этого страшно. У нас море, и всё близко.

– Ну ладно, лети к своему морю. Я приеду к тебе в гости. Хочешь?

– Хочу.

– А через много лет ты меня узнаешь?

– Узнаю. Потому что буду тебе рада. Всегда.

Карина тихо уходит в метель, остаётся на моей щеке тепло от её ладони. Ты всё видишь, дед. Ты всё знаешь. Да, я дошёл до Германии. По-своему, как смог. И мне там будут рады. Я хотел позвать её сюда, познакомить с мамой. Я представлял, как она будет щупать своими длинными дикими ногами наши ненадёжные ступени, и виновато улыбаться, и пугливо подёргивать плечами, потому что здесь ей всегда будет холодно, даже летом. Лёгкий озноб страха оттого, что здесь всё далеко, не покинет её никогда, и потому она не сможет здесь жить. Действительно, как можно жить в самом центре материка, от всего далеко и не бояться собственной отдалённости? У неё море, по морю бегут корабли, и всё в мире становится близко. А по нашей снежной пустыне не ходят даже верблюды. Но в этой безнадёжной обречённости я испытываю удовольствие быть собой. Мазохизм какой-то!

Утром будит меня солнечный свет. Он наполняет комнату, исходя отовсюду: с неба, с соседней крыши, с заснеженных веток рябины под окном. Голая лампа уличного фонаря погасла и стала беспомощной. Выхожу на крыльцо, умываюсь снежным пухом, вдыхаю чистоту морозного воздуха. В невероятной тишине расстилается снег до горизонта во все стороны света. Спасибо, дед, за то, что отстоял мне эту землю. Каждый год приходит время, когда небо щедро роняет на неё невероятные запасы чистой воды нежными кристаллами снежинок. Мы ступаем по поверхности этого океана. Мы привыкли, мы даже не думаем о том, что подобное доступно только богам. Мы настолько очевидно богаты, что не способны замечать этого. Беспечные, беззаботные, пьяные, топчем бесценную пресную воду и тупо гордимся тем, что выворачиваем на продажу запасы из недр земных.

А на кухне пахнет блинами, мама разливает в чашки молоко. Приятно макнуть свежий блин в розетку со сметаной, с тёплым топлёным маслом, с вареньем. Бабушка вновь достаёт из буфета сгущёнку, протягивает мне и тихо просит:

– Открой. Помянем дедушку.

Я вскрываю синюю банку ножом, выливаю в блюдце её густое нежное содержимое. Каждый из нас обмакнул в него свой блин. Жуём. Ну, помянули!

Завтра поезд на запад. И круглые сутки за окнами белым-бело, пока не заскользит наш скоростной экспресс вдоль зимней слякоти перронов Ярославского вокзала.

Москва как символ государства, конечно, хрень. В какую эпоху ни глянь: крадут Россию. Который век крадут! А всё никак не выкрадут. Духовность здесь давно уже – антураж, питающий «ботву». За такими разговорами прямо с вокзала поеду я к другу моему, коренному москвичу Саше Трынкову. Мы вместе служили срочную на Балтийском флоте. Теперь он профессиональный музыкант, играет на классической гитаре. Черноволосый, черноглазый, черноусый, он мог стать приманкой для нынешних скинхедов. Он, человек, у которого от одного слова «Россия» накатывают слёзы на глаза. А между разговорами мы будем пить водку и слушать Сашину гитару, такую же честную и чистую, как он.

Непутевый

Юрка пьяница. Непутёвый он. А он вот взял и дожил до семидесяти. И день рождения выпал на субботу. На чистенькой кухне из холодильника принял свои прохладные сто граммов, закурил ядрёную «Яву». Светлеет мир вокруг, вибрация пространства затихает, всё обретает устойчивость и цвет. В открытое окно росистым воздухом струится город Серпухов сочный июльский лиственный.

Сыновья приедут сегодня. Он даже не ждёт, знает точно: приедут. У него их четверо. Двое от первого брака, двое от второго.

А вот и жена по коридору шаркает, голосом достаёт:

– Юрка, ну накурил с утра! Шёл бы вон на улицу, лето на дворе. Настя спит ещё, а уже дышать от тебя нечем! – вошла на кухню, взмахнула рукой. – Дым глаза ест.

– Тебя съест, подавится, – беззлобно огрызнулся и намекнул, – с днём рождения, что ли?

– С днём тебя! Поел бы, прежде чем начал.

Каждое утро одна и та же песнь: отравил, не позавтракал. А он слов не слушает. Звучит голос, радуется, оно и лучше, чем тишина. Когда-то и тишина наступит. Только вот кто первый замолчит? Кого из них тишина застанет в одиночестве? Он и тут не гадает, знает, что первым уйдёт, просто уверен, иначе бы хоть какое сомнение царапнуло, а нет его. Значит, так и будет. Выходит, он и здесь выгадал. Уйдёт, а ей тишина – взамен дыма по утрам. Подумал и вроде как виноват оказался. И, виноватый, с кухни вынырнул.

Телевизор пора включать, а внучка спит. Заглянул в другую комнату. Сладко спит, разметала русые волосы. Младший с женой развёлся и оставил обеих здесь: дочку да в придачу мать её, мегеру молодую. Сам в Москве бизнес затевает. Мегера тоже там где-то крутится, сюда ночевать приезжает только да по выходным строгостью своей ребёнка донимать. Мучает девчонку своим воскресным воспитанием: «я сказала, я приказала, выполнять, исполнять!». Будто не голосом, а кнутом хлещет. А внучке перетерпеть денёк, губы поджав, и всю оставшуюся неделю под бабкиным крылом расцветать радостью. Так и растёт чудо голубоглазое.

Любит он внучку, любит и удивляется: как это так, через поколение родилась, а волосы светлые и глаза голубые, и все черты лица от него, от деда явила на белый свет. Сам он породу эту от отца своего принял.

Девять лет ему было, ну точно, как Насте сейчас, когда отец уходил на фронт. Мог бы и вовсе не ходить. Был от призыва забронирован отец его: энергетик, главный инженер, депутат райсовета. Настоял, добился, призвали. Запомнился отец высоким, красивым, в гимнастёрке, в ремнях с португеей, с огромной кобурой, как на последней фотографии, только живой, в цвете запомнился, с добрыми глазами и тёплыми руками. Обнял их всех: жену, старшего сына Виктора, его, Юрку девятилетнего, обнял тёплыми ладонями и ушёл. Старший лейтенант, политрук.

Через год мать со старшим братом в Нальчик поехали. Отец письмо из госпиталя прислал. Писал, что ногу хотят «отнять», но он не соглашается. В сорок втором командному составу без согласия конечности не ампутировали. Вот и ждал он мать, посоветоваться, и дождался, успела она, застала его живым, повидались, а на следующий день не стало отца. Газовая гангрена.

Он, Юрка, не скоро об этом узнал. Он, десятилетний, оставшись под присмотром бабушки Марфы в тыловом городе Баку, ждал, что вернутся они все втроём. И пусть отец будет без ноги. Ждал сначала со дня на день, потом пошли месяцы и потянулись годы.

Письмо от матери пришло из тюрьмы. Схоронить отца она успела, а на утро следующего дня город захватили немцы. Их вышибли оттуда через два месяца. Домой добираться было не на что, мать пошла кольцо то ли продавать, то ли на хлеб выменивать, из письма было ясно

одно: осудили её за спекуляцию. Конкретные пять лет «впаяли» с учётом проживания на оккупированной территории. Про погибшего мужа-офицера не вспомнили. Не вязался образ офицера с позорной статьёй.

Брат Виктор тоже из тюрьмы писал. Оставшись без матери в чужом городе, связался он с нехорошей компанией. Взяли его с подельниками на сбыте кожи, украденной со складов.

К тому времени, когда весточки от родных пришли, сам он оканчивал ремесленное училище. В свои двенадцать лет за токарным станком стоял на подставке из пустого ящика, точь в точь как на фотографии в школьных учебниках, повествующей о героизме детей, трудившихся в тылу.

Пока он точил детали на судоремонтном заводе, тихий, умный сосед «наточил на него зуб», да так искусно наточил, что сумел доказать незаконное проживание несовершеннолетнего ребёнка в отдельной квартире. «Тем более что ближайшие его родственники, а именно мать и старший брат являются уголовными элементами, отбывающими наказание, и права на имевшуюся жилплощадь утратили. Тем более что несовершеннолетнего воспитывает родная бабушка Марфа Ивановна, которая имеет отдельную жилую площадь, достаточную с избытком для проживания двух и более лиц. Тем более...» Эти умные слова он слушал на суде и не верил, что по справедливости всё так и будет.

Но однажды, вернувшись с ночной смены, увидел он, что дверь в их квартиру на втором этаже открыта, а незнакомые люди выносят мебель. Лестничная площадка была уже заполнена, потому эти странные люди ставили тумбочки, кресла, этажерки на крайние верхние ступени лестницы, ставили так, что мебель сама срывалась и катилась вниз. Другие странные люди предъявили какие-то бумаги, которые он должен был прочесть и что-то понять. Но ни читать, ни понимать он в тот момент не мог, ему, как воздуха, не хватало тепла, простого человеческого тепла, и убежал он к бабушке. А бабушка Марфа Ивановна не могла возразить организованным действиям соседа. Она сама подрабатывала, вправляя людям кости. Вывих не всегда врачам подвластен. Вот и шептали врачи безнадежным пациентам, куда надо ехать. Со всего города приезжал к ней народ. А ещё она коз держала, над домом, на лысой горе, и поила их привозной пресной водой, которую покупала за деньги. Вступишь она за внука, кто знает, в какие грехи обратили бы добрые люди её невинные труды. Так и зажили они вместе в её квартире, поправляя козьим молоком хроническое военное недоедание.

– Вот уж верно говорят! – подумал он. – Только бы не было войны, – и понял, что думает вслух.

– Ты с кем это там завоевал? – спросила жена, в комнату заглянув, – а чего в пустой телевизор уставился?

– Включить забыл. Задумался.

– Вот и хорошо. Лотерея твоя уже началась, не успеешь почеркаться. Иди, помоги фарш промолоть.

Ну что ж, придётся субботний тираж в киоске проверять. Вышел на кухню, взялся за ручку механической мясорубки, крутанул, захрустело в утробе её, зачавкало.

– А чего тебя родители Верой назвали? – вдруг спросил жену.

– Вот, опомнился, – усмехнулась она в ответ, – мама верующей была.

– Теперь вон все верующие, – с укором проворчал он.

– Тебе, нехристю, не понять.

Опять на спор нарываешься. Не будет он спорить. О чём? Вон как разбушевались люди, стреляют, топчут друг друга злее, чем на войне, и всё это по телевизору показывают, и в том же телевизоре молятся. Прав был отец, когда не позволил крестить сыновей. А то бы он сейчас тоже молился вместе с чертями этими?

– Юрка, ты ручку-то крути.

– А ты налила, чтобы крутить?

– Чего, опять, что ли?

– Не опять, а снова. Плесни для настроения. Нет, стой, я сам.

Сам и открыл холодильник, достойно отмерил дозу в стакан.

– Ну, всё, иди на улицу, сейчас опять курить начнёшь. Я сама докручу.

– Ладно. Будем здоровы! – Выпил, стрёб со стола зажигалку с пачкой сигарет, пошёл к выходу. Благо первый этаж, палисадник со скамейкой у подъезда обласкала прохлада утренняя. А он и не помнит, когда первую сигарету закурил. То ли на заводе, то ли в ремесленном. До отъезда матери в Нальчик точно не курил, а дальше, как не вспомнит себя, всегда при табаке. Стоит ли бросать теперь? Чего ради? Дети выросли, сам он вроде пока не в тягость никому. Правда, вон, мелькнула за окном на кухне Настина головка, проснулась, значит, бабку радует. Ну, зачем он внучке теперь? Разве только для присутствия?

Через двор от соседнего дома звуки летят: «мать-перемать». Собрались трое, гоношатся на предмет поправиться. Трудно ему с бакинским воспитанием матерщину переносить. Столько лет уже в России живёт, а не привык. Не ругаются в Баку русские люди погаными словами. Такое там позор. А недавно услышал он интересную вещь, что евреям их религия запрещает человека словом ранить. Строго запрещает, потому как ранение словом смертельным оказаться может. Но человек умирать будет долго и мучительно. Вот и выплыла тогда из туманов памяти учительница МарьяИванна, как живая, произнесла: «Нечего ему в школе делать. Беспризорный он. Очень плохо на детей влияет. Курит. В ремесленном закончит шестой класс. И хватит ему. Непутёвый. Куда его девать?» И дочка её, Ленка разноглазая: один глаз зелёный, другой голубой, смотрит с соседней парты, строгость изображая, мол, да, все мы тут с мамой согласные: нечего ему, такому непутёвому делать среди нас. Слово «беспризорный» было тёплым, потому как бабушка Марфа пятерых своих детей вырастила и ещё шестого, беспризорника. Слово это и сама бабушка, и соседи всегда произносили с заметным теплом, потому оно в устах МарьяИванны его не обидело, а вот что такое быть непутёвым, он не понял. Долго понять пытался, замерял поступки свои словом этим, так и понёс его в себе смолodu. По ночам просыпался, в потолок смотрел, утопал в ужасе: а вдруг я и в самом деле непутёвый? Боялся: вот вернуться мать с братом, им опора нужна, а я в самом деле такой. Всё растерял, всё утратил, ничего не сберёт.

Но однажды ночью к бабушке Марфе самого начальника милиции принесли. Тихо, тайно. Все шептались, а он стонал. Здоровый такой мужик, плотный. На мотоцикле тормозил и ступню вывихнул. Жутко было смотреть, куда торчала из ноги ступня его. Бабушка кость вправила. Платы, естественно, не взяла, а через недельку сама ходила на приём. Начальник подсказал: что да как, да где двигать, и даже посодействовал в чём-то. По суду взамен квартиры комнату в коммуналке дали – двенадцать квадратных метров. Судья так и сказал бывшему соседу: «Сволочь ты, у пацана отец погиб, а ты!..» Эта сволочь долго потом на высоких должностях сидела, на персональном автомобиле ездила. И две дочки у неё, у сволочи, выросли. Какие? Никакие. Не помнит он.

На квадратные метры в полуподвал возвращались сначала мать, потом и брат с женой. Он снова к бабушке ушёл. И жену свою первую привёл к ней, в старый двухэтажный дом с длинными общими балконами, с добрыми соседями.

А Ленка разноглазая, дочка МарьяИванны, сразу после школы родила пацана «от духа святого». Так и прогундосила свою жизнь, став учительницей, как и мать её. Вот ведь, привязались, не отвяжешься! Прикурил.

– Де-да, не ку-ри! – Это Настя выпорхнула из подъезда.

– Ты куда?

– В танцевальный.

– Погоди, я провожу.

– Ты медленно ходишь, – и упорхнула белым платицем по летней улице.

«Эх, если бы отец дал ногу отнять!» – вздыхали в семье, когда что-то не ладилось, а не ладилось многое. Брат Виктор снова ушёл в тюрьму от жены и от дочери. Он только после сорока годков своих прожитых успокоится, образумится, а точнее, оторвётся от братвы.

Сыновья приедут сегодня. Вечером за столом он им скажет. Он знает, что сказать.

От дальней скамейки тишина. Отматерились, утешились. Льют водку в пластмассовые стаканчики. Звали разделить трапезу. Но не пьётся с ними ему. Поимённо знает каждого: Иван, Сергей да Николай. Тоже выжили. Путёво, непутёво добрались до своей скамьи. Пьют, не жалуются. А ведь где-то спотыкались, где-то кому-то задолжали. Памятуют, не памятуют? А в нём болит.

У него, как ни старался, все шаги по жизни, почитай, вышли непутёвые. С первой женой после свадьбы по комсомольским путёвкам в Казахстан рванул. Целину поднимать. Своими руками строить светлое будущее, а там над ними пули засвистели. Говорят, уголовники бучу затеяли. Но он-то знает, что всё не так. Еды не было, воды не было, ничего не было из обещанного. Взбунтовался народ. Вместо работы толпой ринулись штурмовать столовский склад и местный магазин. К вечеру начальство прибыло. Танцы объявили, артистов знаменитых обещали. Люди поверили. Тут их, сытых, и повязали. Солдатики подъехали по-тихому. «Всем лежать!» – команда была. Стреляли поверху. Потом разборки пошли: кого куда девать из попуганных. Он по возрасту вырвался в армию. В Монголию. А жена по беременности вернулась в Баку.

А какие он ей непутёвые письма писал! Не верил, что первенец от него. Нет, верил, но проверял, как положено, по-армейски. Жена обиделась, уехала к родне в российскую глубинку. Дурак дураком явился дембелем к жене, вырвал мальчонку из кровати, прижал к себе: «Мой, мой, мой!».

Простила. Он забрал её и повёз в свой Баку. И под стук колёс рассказывал, как воды в Монголии не хватало. Приходит канистра в часть, сопровождающий при всех (так положено) сыплет в неё хлорку. Терпеть! Шла через степь. Вытерпим – выживем. Терпели и строили железную дорогу. И дурели от жары и жажды, и лезла в воспалённые головы всякая всячина. Иначе откуда дурь в письмах его? Подвирал, конечно, но уж очень оправдаться хотелось.

За тринадцать лет совместной жизни с первой женой нажили они ещё одного сына и накопили столько взаимных обид и претензий, что разводились с треском. Непутёво разводились. Ну, да что теперь? Не вернёшься. Не исправишь.

Повели пути-дороги. Менял он тупые ножи на острые, над волнами Тихого океана на плазаводе «Александр Косарев» работал заточником. Девчонки в путину рыбу резали на разделочных столах. Он ходил среди них, опоясанный специальным ремнём, на котором крепились ножи, и по первому зову менял тупой на острый. А потом бежал точить те, что собрал. Там и встретил Веру, в прямом смысле на волнах океана. Привёз в Баку.

А вот и сама она из подъезда выходит, присела рядышком.

– Погоди только, не кури, отдышаться вышла. От плиты на кухне духота.

– Кутабы приготовишь?

– И кутабы приготовлю, и бозбаш, и довгу на утро.

– Тоскуешь по Баку?

– Как не тосковать? Хорошо ведь жили.

– Кто придумал этот 89 год? Говорят, сами армяне спровоцировали.

– А ты слушай больше. Сволочи придумали. Армяне, азербайджанцы, какая разница? Нормальным людям надо всё вверх дном поднимать?

И в самом деле: кому надо было начать людей резать? Чтобы в город танки вошли, пули засвистели, потом мародёры развелись.

– Ну ладно, – успокоил жену, – вырвались. Живём.

– А ты куда?

– Ну, надо.

– Надо! Выпей, да поспи до вечера. И на кухне не кури.

– Ладно, щас выйду.

Выпил, вышел, закурил.

– Знаешь, Вера, о чём я сегодня думаю?

– Ну?

– А что если бы отец позволил ногу ему ампутировать? Ведь я бы семьдесят лет свои не так прожил.

– А что тебе в них не так?

– Да нет, всё так. Но мог быть другой смысл?

– Мог, не мог, что теперь?

– А теперь ничего, – согласился он и пошёл спать. И проспал до вечера. Проснулся: сыновья приехали. Младшие на своём транспорте. От Москвы недалеко. Оба бизнесменят. На квартиры пока не заработали, а так всего в достатке. Старшие из Сибири добрались. Первенец директор теперь. Спокойный, вальяжный; второй сынок строитель, тоже на жизнь не жалуется.

Подарков навезли, в новый костюм нарядили. Тепло за праздничным столом, так тепло, что и мегера свой норов поприжала, ровно дышит, злобой не пульсирует. Ладят между собой сыновья. Ничего не делят, слава Богу. Может, потому и не делят, что делить нечего? Да и Бога нет. Есть во всём только смысл.

Вот пришла его очередь тост произносить. Он поднял рюмку, он знал, что скажет.

– Всю жизнь слышу, бестолково Юрка живёт. Непутёво. Как же бестолково, непутёво, когда вот они, вот! – И обвёл жестом сыновей, улыбнулся и залучился морщинами от голубых глаз к вискам.

– За тебя, отец! – отозвались сыновья.

Маринованным баклажаном закусил и, как бы косвенно, извиняясь, добавил:

– Всякое, конечно, у нас было. Не мог я всегда быть хорошим. Ну, как случилось, так случилось. Я вот тоже сегодня вспоминал. Про отца своего думал. А что если бы он тогда разрешил ногу ампутировать и вернулся бы живым?..

Замолчал, за этим «если бы» должна была сложиться иная жизнь, совсем иная. Только вот он никак не мог нафантазировать себе эту жизнь. В воображение входил одноногий отец на костылях. Живой. И всё! Дальше складывалось, как складывалось наяву. Никакие другие варианты не рисовались.

– Он не вернулся бы живым, – вдруг сказал старший и в наступившей тишине добавил: – И бабушка не вернулась бы, и брат твой тоже. Они бы даже до тюрьмы не дожили. Я недавно в интернете смотрел. Немцы, когда в Нальчик вошли, всех раненых расстреляли. Все госпитали взорвали. Они бы и бабушку, как жену красного командира, вычислили. Думаю, и дядю бы не пощадили. Тогда бы точно ты в полном одиночестве по жизни карабкался.

– Выходит, спас нас отец?

– Выходит.

Выпили за его отца. И за маму. И за брата, который уже отошёл в мир иной. И за бабушку Марфу выпили.

Доброе получилось застолье, долгое. Спать улеглись с рассветом, в двух комнатах на диванах, кроватях и раскладушках. Заснули быстро и крепко. Он в суматохе попросил телевизор на кухню вынести, чтобы, якобы, не мешал размещаться. Здесь и дожидался нужного часа, и думал.

Выходит, спас нас отец, а дальше всё вперекосяк пошло. Но быть могло только хуже. На лучший исход судьба в себе шансов не таила. Он всегда понимал, что никакого ихнего Бога нет, но есть смысл. Во всём есть смысл, вот такой простой и жёсткий. Прав был отец, а теперь получается, что и во всём был прав. Вот мы на этом свете, на белом свете, вот и я

здесь. А дальше что? Какой свет? Красный? Синий? Жёлтый? На каком свете мы будем там? Если здесь белый, то там какой? Чёрный отзывается. Это если не лукавить. Вот и стремимся быть на белом, и хотим, и никакого другого света нам не надо.

Да, если бы он был, ваш Бог, ввинтил бы он такую дребедень в человека, как печень, почки, лёгкие? Механизм, мы и есть механизм, со сроком годности. Если у такого изделия создатель есть, то какой же он Бог? Скажите ему, что он создатель, так он и посмеётся над вами. Сердце стучит, пока своё не выстучит. Работает машина.

Когда стрелки на часах показали без одной минуты восемь, он плотно притворил дверь, подсел поближе к телевизору, очки надел, билеты лотерейные воскресные в порядке разложил на стол: один над вторым. Авторучку приготовил и, пультом засветив экран, вмиг убавил звук до минимального. А всё равно кричит «чудак» из телевизора, кривляется, бодрячком скачет. Будто он, Юрий Михайлович, купил эти билеты нехотя, а теперь его надо убедить, что правильно он поступил, что вот ещё чуть-чуть, и все будут счастливы, и он в том числе. Если бы он сам ни на что не надеялся, стал бы каждую неделю билеты покупать? Хотя в глубине души он и вправду ни на какой выигрыш не надеется. Тут дело в другом.

На экране шарики заскакали. «Чудак» цифры выкрикивает. Юрий Михайлович крестами квадратики в билетах покрывает. И чувствует уже, что отстаёт, кому-то другому нужные числа выпадают, и вот этот кто-то заполнил первую горизонтальную строку, и сумму выигрыша всем объявили, и город, в котором счастливчик живёт, тоже назвали. Для остальных шансы на выигрыш остаются. Мелькают шары, звучат цифры, и снова видит Юрий Михайлович, что отстаёт, и понимает, что так и будет отставать до конца розыгрыша, где ему в лучшем случае рублей сто выпадет, которые он снова обменяет на два билета, чтобы в следующие выходные вот так же азартно присесть у телевизора. И не верить в выигрыш. Но всё-таки удачу стеречь. Ведь недополучил он чего-то в жизни, по-крупному недополучил, да так по-крупному, что несправедливость эта должна иметь какое-то разрешение. И не о себе он вовсе думает, самому ему с его потребностями всего хватает теперь, а вот если бы он своё недополученное смог вдруг детям отдать, как бы оно им всем сейчас сгодилось, как бы облегчило все их старания жить.

Лотерейный билет – это как рыбалка, только наоборот. Рыбу выудят и съедят. А тут миллионы крючка жаждут, чтобы схватиться за него всем своим существом и вынырнуть!

Нет, не верит он в выигрыш. Но отними у него эту воскресную забаву, какая пустота наступит! Окончательно и навсегда! Пусто-пусто, как в домино. И тишина. Никто никогда не допустит такой пустоты. Государство не допустит. В этом смысл!

Задумался и пропустил номера. Вот и эти билеты придётся в киоске проверять. Ну, да и пусть, там всё равно больше сотни не выпало. Если выпало вообще.

В открытое окно струится запахом листвы летнее утро. Солнце греет подоконник. Спят за стеной сыновья, спит любимая внучка Настя, родная жена Вера тоже спит. Наступает первый день семьдесят первого года его непутёвой жизни. Он закурит, он выйдет из подъезда, присядет на скамейку и закурит, и в синем дыму его ядерной «Явы» проплывут и растают: военное детство, не поднятая целина, безводная Монголия, огромный Тихий океан.

Мой Ленин

Очередь

Ленина я мог увидеть в 1965 году. Мы с отцом приехали в Москву. Замысел отца был грандиозен: показать мне Ленина и Пеле. Сборную Бразилии пригласили испытать СССР на прочность перед чемпионатом мира. Послезавтра футбол. Завтра Мавзолей.

Остановились у родственников. Родственники были близкие, но не тёплые. Москвичи. Их до нас успели достать визитами и проездами. На всё про всё у нас было два дня. К Ленину отец поехал заранее, даже не разбудив меня, хотел удивить билетами. Оказалось, что билеты в Мавзолей не продают.

На следующий день мы оба проснулись рано. Куда? – спросил таксист.

– В Мавзолей, – констатировал отец. Не торгуясь, водитель, включил счётчик, «Волга» гордо шла по Москве. Асфальт стелился под колёса, шурша водой от поливочных машин. Дыша прохладой, мы, счастливые, успели примкнуть к живой очереди. Вдоль Кремлёвской стены люди вдохновенно ждали встречи, вдруг перед Вечным огнём кто-то невидимый, но осязаемый вежливо сказал: «Извините». Его не было, но он был. Я позже встречал их в самых неожиданных ситуациях. Он есть, но его нет, у него есть голос, у него есть воля, он корректирует толпу, рассекает, выдворяет. Вот такие появились среди нас и как-то быстро объяснили, что все мы опоздали. Нас получилась целый «хвост». «Хвост» роптал.

– Как вам не стыдно? Мы в Мавзолей!

Безликим не бывает стыдно.

– Пошли отсюда! – брезгливо сказал отец, и мы вышли из «хвоста».

Отцу тогда было 33 года. И я увидел, что кто-то здесь не должен касаться его кожи. Он куда-то спешил из этого пространства, крепко держа меня за руку.

– Сталина на них не хватает! – поддержал я его.

– Ты что?! – зашипел на меня отец.

– Ты сам так говоришь, – обиделся я за неудачную попытку показаться умным.

– Не важно, что говоришь, важно, где говоришь, – оглядываясь, прошептал отец.

Я чувствовал себя уходящим партизаном.

– А мы куда?

– В Лужники, – сказал отец.

«Лужники» звучало, как что-то островное, скрытое зеленью ото всех. Но вместо Лужников мы снова поехали на проспект Ленина, там жили наши родственники на улице Крупской. Там покормили нас обедом. И я убежал не куда-нибудь, а в самую третью комнату, где стоял выдвигающийся от стены диван; не смея выдвинуть его, я прилёг отдохнуть. Отец присел рядом. Он дремал недолго. По крайней мере, мне так показалось.

– Поехали, – вдруг сказал он.

– Куда?

– В Лужники.

Самые лучшие Лужники были диваном подо мной.

– А что в Лужниках?

– Там Пеле.

Это было второе магическое слово нашего путешествия. И я встал.

Мы вышли из вагона метро на платформу, где лицом к нам стояли какие-то люди, мешали нам идти и о чём-то спрашивали.

– Что им надо? – спросил я отца.

Он вытягивал меня за руку к эскалатору и уже по-бакински, раздражённо говорил: «Панимаешь? Идиоты-да!».

Мы выбрались на поверхность. Лужники оказались не лесом, идиотов здесь было ещё больше. Они спрашивали: нет ли у нас лишнего билетика?

– Если у нас нет билетика, давай станем, как они, – предложил я отцу.

– Подожди, сейчас станем.

Как настоящий бакинец, он просто поднял над головой десятирублёвую купюру. Билет на стадион стоил один рубль. Все, кто шли на стадион, проходили мимо нас.

Вдруг рядом зазвучал абсолютный идиот. «Возьмите, возьмите за билет!» – кричал он, растягивая над головой болоньевый плащ! Даже я знал: эта вещь стоит сорок пять рублей!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.